

А.И. Левитов

*Жизнь
МОСКОВСКИХ
закоулков*



очерки и рассказы



Александр Левитов

**Жизнь московских закоулков.
Очерки и рассказы**

«Индрик»

2013

УДК 94 (470-25)
ББК 63.3 (2) (2-2 Москва) + 63 (2) 5

Левитов А. И.

Жизнь московских закоулков. Очерки и рассказы /
А. И. Левитов — «Индрик», 2013

Автор книги – Александр Иванович Левитов (1835–1877), известный беллетрист и бытописатель Москвы второй половины XIX в. Вниманию читателя представлено переиздание сборника различных зарисовок, касающихся нравов и традиций москвичей того времени. Московская жизнь показана изнутри, на основе личных переживаний Левитова; многие рассказы носят автобиографический характер. Новое издание снабжено современным предисловием и комментариями. Книга богато иллюстрирована редкими фотографиями из частных архивов и коллекций М. В. Золотарева и Е. Н. Савиновой; репродукциями с литографий, гравюр и рисунков из коллекции Государственного исторического музея-заповедника «Горки Ленинские» и фонда Государственной публичной исторической библиотеки России. Книга представляет интерес для всех, кому небезразлично прошлое российской столицы и судьбы ее простых жителей.

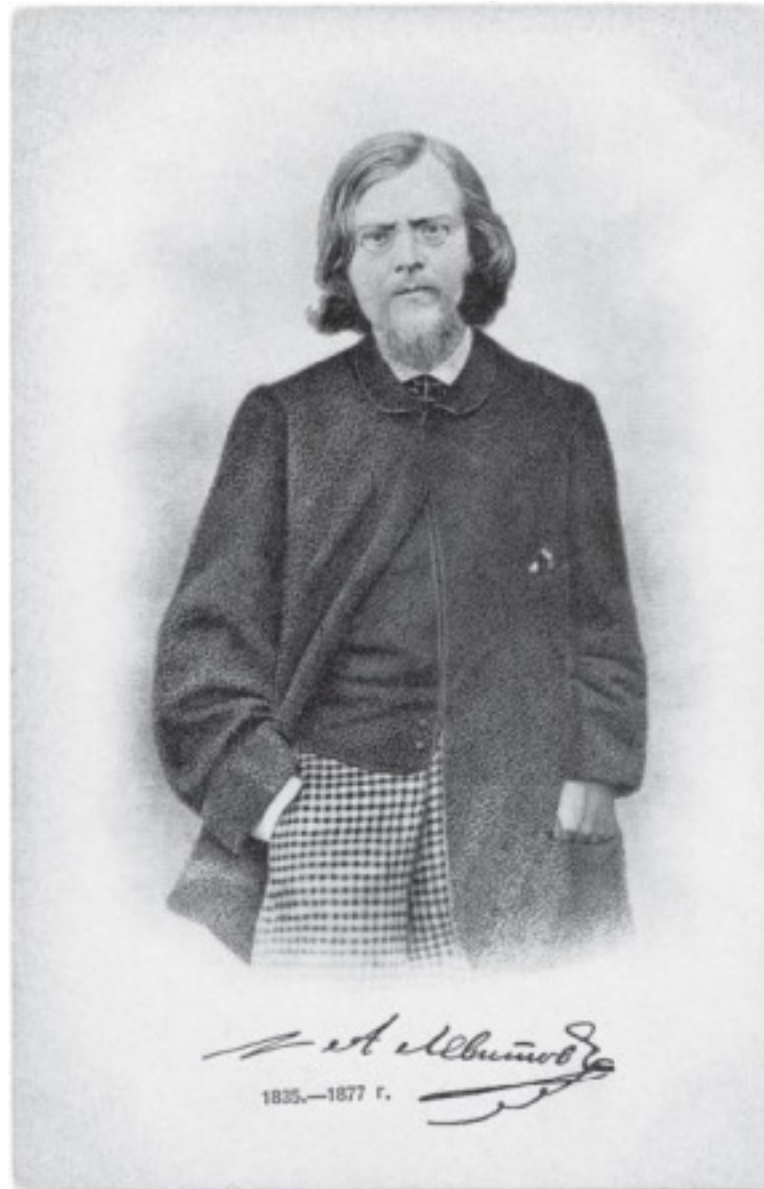
УДК 94 (470-25)
ББК 63.3 (2) (2-2 Москва) + 63 (2) 5

© Левитов А. И., 2013
© Индрик, 2013

Содержание

Живописатель московских нравов	6
Перед Пасхой	15
Московские комнаты «снебилью»	23
I	23
II	27
III	31
IV	39
Конец ознакомительного фрагмента.	40
Комментарии	

**Левитов А. И.
Жизнь московских
закоулков: очерки и рассказы**



Александр Левитов. Литография. 1870-е гг. Коллекция ГИМЗ «Горки Ленинские»

Живописатель московских нравов

Имя Александра Ивановича Левитова появилось на страницах русской периодической печати в конце 1850-х гг. Литературная критика благосклонно приняла самобытного писателя, правдиво отображавшего быт обитателей предместий, городских окраин и столичных трущоб¹. Беллетристические опыты молодого автора обращали на себя внимание органичной связью с жизнью, ярким и образным языком, точностью описания деталей и характеров, за которыми чувствовался тяжкий личный опыт.

В период подъема революционных настроений перед Великой реформой закономерным было возникновение целого ряда беллетристов, которые сконцентрировали свое внимание на нескончаемой борьбе «маленького человека» за то, чтобы выжить в несправедливом мире. Произведения литераторов «народного реализма», таких как Н. Г. Помяловский, В. А. Слепцов, Ф. М. Решетников, И. А. Кушневский, М. А. Воронов, Н. Н. Златовратский, П. В. Засодимский и других, представляли собой социальные очерки, отличительной особенностью которых являлась скрупулезная документальность.

Писатели-разночинцы сделались комментаторами и исследователями народной жизни, привлекли внимание общества к человеку из низов, которому суждено было стать одним из основополагающих типов русской литературы. А. И. Левитов, являясь одним из самых ярких авторов в этой плеяде «певцов народного горя», считал важным без прикрас рассказать о своем герое: «Лик Божий, кажись, давно утерял, давно уж он весь от жизни измызган и заброшен за забор, как бабий истоптанный башмак, а эдак вот проживешь с ним, побеседуешь по душе, ан там, на глуби-то, внутри-то, она и светится, как светлячок, душа-то Божья, и мигает. А кто к нему подойдет, к этой бедноте-то, вблизи-то, лицом к лицу, кто это будет до души-то этой докапываться?»²

Однако вопреки ожиданиям современников, это драматическое направление в литературе не стало мощным этапом в ее эволюции: беллетристы-народники, а среди них и А. И. Левитов, не создали значительных работ. Критик и публицист А. М. Скабичевский с разочарованием отмечал: «Вместо тщательно обработанных, художественно-стройных и законченных произведений, какими мы так избалованы всей предыдущей литературой, они подарили нас рядом неоконченных отрывков и бесформенных клочков, неуклюжих, нестройных, отягощенных местами длинными и скучными рассуждениями, местами фотографическим сырьем или бесконечными описаниями мелочных деталей»³.

Вместе с тем именно эта подробность изложения и почти этнографическая точность делает работы подобных авторов, а Левитова более чем кого-либо, особенно интересными для историков и исследователей культуры и быта русского общества второй трети XIX в. Жизненная правда очерков Левитова объясняется тем фактом, что он не просто описывал мир городских закоулков и притонов: он находился внутри этой кошмарной яви и на своем пути к творчеству прошел тернистый, «до кровавого пота трудный» путь⁴. «Он не фотограф, не простой

¹ «Степные очерки» А. И. Левитова // Современник. 1866. № 4. С. 262–271; Ткачев П. Разбитые иллюзии // Дело. 1868. № 11. С. 1–25; Буренин В. Журналистика // Санкт-Петербургские ведомости. 1869. № 279, 301, 353; Утин Е. Задачи новейшей литературы // Вестн. Европы. 1869. № 12. С. 832–888 и др.

² Златовратский Н. Н. Воспоминания. М., 1956. С. 293.

³ Скабичевский А. М. Александр Иванович Левитов: (его жизнь и сочинения). Ст. первая // Отеч. зап. 1877. Т. 232. № 6. С. 138.

⁴ О жизни и творчестве А. И. Левитова см.: Нефедов Ф. Д. А. И. Левитов // Вестн. Европы. 1877. № 3. С. 452–464; Скабичевский А. М. А. И. Левитов. Его жизнь и сочинения // Отеч. зап. 1877. № 6. С. 137–173; Он же. Там же. № 8. С. 133–165; Похороны А. И. Левитова // Рус. ведомости. 1877. № 7; А. И. Левитов. Некролог // Будильник. 1877. № 6. С. 10; Боборыкин П. Д. Из воспоминаний о пишущей братии. А. И. Левитов // Биржевые ведомости. 1878. № 134; Буренин В. Писатель-плебей // Новое время. 1884. № 16. С. 2; Пыпин А. Н. Беллетрист-народник шестидесятих годов // Вестн. Европы. 1884. № 8. С. 648–684;

наблюдатель со стороны, а человек, всецело принадлежавший той среде, которую изобразил он в своих поэтических и художественных созданиях», – писал его первый биограф, публицист и этнограф Ф. Д. Нефедов⁵.

Александр Иванович Левитов родился в семье священника 20 августа 1835 г. в большом торговом селе Доброе Лебедянского уезда Тамбовской губернии⁶. Семья была большая и работающая. Отец Иван Федорович содержал постоялый двор, где находили себе приют приезжавшие на ярмарки сельские жители, и открыл в собственном доме школу. Сыну, который очень рано выучился чтению и письму, он поручил преподавание среди самых маленьких, и тот восьми лет вел уже целый класс.

О своем детстве Левитов всегда вспоминал с теплотой, нередко вплетая впечатления раннего периода своей жизни в рассказы и очерки. Живописные окрестности родных мест, детские забавы, увлекательные путешествия в степь рождали в его романтической душе светлые переживания и надежды. Даже в зрелые годы Левитов не искоренил в своем сердце чувства щемящей нежности к пережитому в Добром. «Мне вспоминается мое прошлое, когда я был не один, – в состоянии гнетущей тоски писал он в рассказе «Перед Пасхой». – Сельская церковь, думаю я, иллюминирована теперь общими стараниями прихода; на улицах веселая, детски радующаяся жизнь. Перед образами ярко горят свечи прихожан, еще ярче блестят им в глаза парчовые ризы священников. Мой десятилетний дискант валдайским колокольчиком звучит с клироса, заглушая доморощенный хор».

Когда мальчику исполнилось десять лет, отец задумал отдать его в Лебедянское духовное училище. В Лебедяни жило семейство деда по материнской линии – протопопа И. А. Щепотьева, с сыном и племянником которого Александр быстро сдружился. Каноны богословия Левитов осваивал без особого труда, так как обладал блестящей памятью. Свободное время мальчик посвящал чтению книг в библиотеке деда, увлекался поэтическим творчеством. Успешно проучившись большую часть года, он получил разрешение осваивать науки дома и приезжать из родного села только для сдачи экзаменов. Таким образом, постижение азов церковного образования проходило для него необременительно и не сдерживало его возвышенной натуры.

Окончив училище, Левитов продолжил образование в Тамбовской губернской семинарии, где несколько лет находился в обстановке беспредельных унижений. В рассказе «Петербургский случай» он описывал эту среду тупой жестокости и бессмысленного доноительства, где обитало «коростовое стадо разношерстных ребятишек, голодных и потому воровавших у всякого все, что только попадало под руку; беспризорных и потому по-зверски изодравшихся; без хороших руководящих примеров и, следовательно, в самом детстве уже обреченных на гибель... Шипенье гибких двухаршинных розог, рев десятка детей, которых в разных стойлах полосовали ими...»

Литературные занятия и поэтические опыты Левитова, увлечение его «светскими» книгами таких авторов, как Шиллер, Диккенс, Гете, Теккерея, Грибоедов, Лермонтов, Гоголь, вызывали недовольство «богомудрых» педагогов, видевших в этих пристрастиях «вернейший

Златовратский Н. Н. Из литературных воспоминаний. А. И. Левитов // Почин: сб. О-ва любителей рус. словесности на 1895 г. М., 1895. С. 93–106; Налимов А. П. Живописатель нравов. А. И. Левитов // Образование. 1904. № 7. С. 99–104; Айхенвальд Ю. Левитов // Силуэты рус. писателей. Вып. 3. М., 1910. С. 45–52; Козьмин Б. «Ужасная» тайна А. И. Левитова // Каторга и ссылка. 1932. № 6. С. 193–197 и др.

⁵ Нефедов В. Д. Александр Иванович Левитов. М., 1884. С. XXXIV.

⁶ См.: Краткая литературная энциклопедия: в 9 т. Т. 4. М., 1967. В отношении даты рождения А. И. Левитова имеются и другие указания. Так, редактор «Библиотеки великих писателей» издательства Брокгауза и Ефрона С. А. Венгер в биографической статье о Левитове указывал 20 июня. См.: Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон. Т. XVII. Култагой – Лед. СПб., 1896. С. 437. Исследователь жизни и творчества Левитова А. Я. Силаев указывает 30 августа. См.: Силаев А. Я. Лиры звон кандалный: очерки жизни и творчества А. И. Левитова. Липецк, 1963. С. 5. Автор вступительной статьи и примечаний к изданию сочинений Левитова Е. Жезлова полагает, что писатель родился 20 мая 1835 г. См.: Левитов А. И. Сочинения. М., 1977. С. 5.

признак злохудоженной души». «Преступное», с точки зрения семинарского начальства, чтение стало предметом слезки за Левитовым и его единомышленниками. «Меня обвинили, без суда и следствия, – вспоминал он позже, – в приводе на квартиру женщин, в непотребном ругательстве своего начальника и приговорили к восприятию розог... С минуты приглашения меня и всего класса в экзекуторскую, я потерял сознание... Что было потом, я не знаю; знаю только, что я был приговорен к смерти; у меня открылась нервная горячка, и я очнулся только через месяц, и в больнице...»

В 1855 г. он бросил семинарию за год до ее окончания и решил отправиться в Москву, чтобы поступить в университет. За неимением средств он прошел почти 500 верст пешком, зарабатывая себе на пропитание случайными заработками. Но в число студентов Левитов зачислен не был и решил стать слушателем Петербургской Медико-хирургической академии.

На помощь из дома он более рассчитывать не мог: мать его внезапно умерла, отец вторично женился и оставил не только Александра, но и младших детей без материальной поддержки. Перебиваясь с хлеба на воду, Левитов в течение двух лет скитался по петербургским «комнатам *снебилью*», терпел болезни и лишения, продолжая и учение, и увлечение словесностью и литературным творчеством. В это время он написал несколько глав своего первого произведения «Типы и сцены сельской ярмарки» и вынес рукопись на обсуждение в маленьком литературном кружке товарищей, куда также входили Е. И. Щепотьев, И. М. Дмитриевский, Г. И. Архангельский, Н. В. Успенский и некоторые другие. Одобрение друзей вдохновляло Левитова, и современники вспоминали его яркие импровизированные выступления и рассказы на «бесedah» в кружке, которые были проникнуты мягким юмором и большой любовью к своей малой родине.

Он был обаятельным человеком и приятным собеседником. Как писал один из его друзей, «наружность Левитов имел весьма симпатичную; немного выше среднего роста, тонкий и стройный, с овальным лицом, щеки которого горели ярким румянцем, и длинными белокурыми волосами, падавшими локонами по самые плечи; глаза серые, вдумчивые и светившиеся умом; голос у него был грудной тенор, тихий, певучий и глубокий, словно он исходил из самого сердца!»⁷

Деятельность кружка вызвала неприятие охранного отделения, а Левитова, которому свойственны были обостренная впечатлительность и горячность в суждениях, в ноябре 1856 г. арестовали и препроводили в Вологду, а затем небольшой городок Архангельской губернии Шенкурск. В течение двух лет он находился в ссылке, исполняя там обязанности фельдшера, чтобы компенсировать Медико-хирургической академии казенные деньги, выплаченные ему ранее в качестве стипендии.

Оторванность от единомышленников, нелюбимый труд, глубокая разочарованность привели молодого человека к глубокому нравственному кризису. Он начал пить, пристрастился к игре в карты и все реже стал обращаться к беллетристической деятельности. Друзья в письмах всячески ободряли его. Затем хлопотами доброжелателей он был переведен в Вельск и вновь в Вологду, где был освобожден в 1859 г. «Время, проведенное им на севере, несомненно, было одним из самых тяжелых в его жизни; он не любил говорить о нем, – с грустью вспоминал о Левитове публицист А. Н. Пыпин, – изредка только упоминал потом приятелям о своих тяжелых испытаниях... Здесь, по-видимому, началась и та несчастная слабость, которая, вместе с житейскими неудачами, так изломала внутреннюю жизнь и материальный быт Левитова: добрые сострадательные люди уверили его, что от всяких бед можно найти утешение в вине...»⁸

⁷ Нефедов Ф. Д. Александр Иванович Левитов//Левитов А. И. Собр. соч. М., 1884. С. XLV.

⁸ Пыпин А. Н. Указ. соч. С. 659.

Весной 1859 г. Левитов почти без гроша тронулся в долгий путь, чтобы повидать родных, но добрался до Лебедяни он только через полгода, потому что, по своему обыкновению, преодолел это огромное расстояние пешком. Так же пешком он дошел затем до Москвы.

Первое время он мыкался без работы, голодал, ночевал на Москворецкой набережной под лодками. Затем, получив от родных немного денег, смог снять жилье на Грачевке, и тут в его полной невзгод и лишений жизни наступил период сравнительного благополучия. Его соседом по меблированным комнатам оказался старый наборщик типографии «Русского вестника», который свел его с известным литературным критиком Аполлоном Григорьевым. Тот благосклонно принял рассказы Левитова, заметив: «У вас оригинальный талант. Есть что-то гоголевское, но это у вас свое, самобытное...»⁹

Александр Иванович произвел хорошее впечатление и на М. Н. Каткова, который предложил ему место помощника секретаря редакции и постоянный заработок. В 1861–1863 гг. очерки Левитова охотно печатали многие московские и петербургские журналы. В «Московском вестнике» были опубликованы «Сладкое житье», «Время» напечатало «Ярмарочные сцены». В «Русской речи» вышли «Целовальничиха» и «Проезжая степная дорога», а в «Зрителе» – «Мирской суд». Его «сцены» и «картины», как называл он свои очерки, брали к публикации издания различных направлений: «Развлечение», «Якорь», «Народное богатство», «Северное сияние», «Новое время», «Библиотечка для чтения» и другие.

Имя Левитова стало приобретать известность в литературной среде. Он приободрился, окреп, стал одеваться по моде. Изменения наступили и в его личной жизни – он встретил женщину, с которой не расставался до конца своих дней. Это была простая крестьянская девушка-сирота, приехавшая в город на заработки и трудившаяся в швейной мастерской. Робкая и неустроенная, она любила Александра Ивановича, но не стала ему опорой и не отвратила его от дурных привычек трудной молодости.

Вечному скитальцу Левитову не удалось надолго удержаться в редакции. Вскоре он вновь попал в тиски бедности, безысходной тоски и убогого прозябания в трущобах. Об этом времени он так писал в 1863 г. во вступлении к очерку «Московские комнаты снебилю»: «Лучшие дни молодых годов моих безвозвратно прожиты в этих тайных вертепах, где приючается, как может, пугливая бедность». В пореформенные годы многие московские журналы были закрыты по цензурным соображениям, и, живя в Москве, Левитов постоянно наведывался в Петербург в поисках литературного заработка. А в 1863 г. он решил туда переехать.

Жизнь в Северной столице значительно расширила круг знакомых Левитова: у него появились контакты с издателями и деятелями русской культуры. Однако он остался в стороне от полной идейной борьбы литературной жизни Петербурга, а нездоровье заставило Левитова вновь вернуться в Москву, где он решил попробовать себя как редактор нового общественно-политического альманаха «Звезда». Сотрудничать в журнале согласились известные писатели В. А. Слепцов, Г. И. Успенский, Марко Вовчок, но правительство запретило альманах, и Левитов потерпел страшные убытки.

Чтобы как-то свести концы с концами, он уехал в Рязск, где устроился преподавателем русского языка. Но и педагогическая карьера у него не сложилась. Ему было душно и тоскливо в атмосфере захудалого городка, где свободное творчество вызывало недоумение и подозрительность начальства. В 1866 г. он вновь вернулся в Москву, и с этого времени стал вести жизнь вечного странника, постоянно меняя места службы, переживая месяцы творческой беспомощности и беспробудного «запиво́йства».

Особенно мучительны были последние пять лет жизни Левитова. Его заработок был ничтожен, а здоровье окончательно надломлено. Литературная репутация писателя оказалась подорванной получением многочисленных авансов в редакциях, в уплату которых Левитов

⁹ Нефедов Ф. Д. Александр Иванович Левитов. М., 1884. С. LXXVI.

давал лишь наброски или отрывки из так и не завершенных произведений. Он угасал, терзаясь мыслью, что начатый им роман «Сны и факты» так никогда и не будет закончен, и, говоря о своем «ненаписанном» творении, плакал.

На последней стадии чахотки Левитов жил в сырой, нетопленной «клетушке», совершенно лишенной каких-то удобств. Чтобы добыть из какой-то мелкой редакции денег, он в декабрьскую стужу вышел из дому в летнем пальто и жестоко простудился.

4 января 1877 г. Левитов умер в Московской университетской клинике и был похоронен на Ваганьковском кладбище на средства, собранные «по подписке» среди его знакомых.

Смерть несчастного «пловца жизненной пучины», так и не создавшего крупных авторских работ, казалось бы, должна вызвать полное забвение его произведений. Однако этого не произошло: в 1884 г. были опубликованы многие из его рассказов, в 1905 г. – издано Полное собрание сочинений, а в 1911 г. литературное наследство писателя вновь было переиздано¹⁰. Очерки А. И. Левитова неоднократно печатались и в советское время, привлекая читателей впечатляющим описанием «темного дна» реальной жизни, жизненностью человеческих характеров и эмоциональностью языка.

Издание книги А. И. Левитова «Жизнь московских закоулков», которое предприняла Государственная публичная историческая библиотека, также станет большим подарком для любителей русской старины. Настоящий сборник включает тринадцать очерков и рассказов писателя, объединенных одной темой и рисующих яркие жанровые «сцены» быта людей, населявших городские окраины и «меблированные вертепы».

Это издание 1875 г. повторило появившиеся в печати в 1868 г. «Московские норы и трущобы», составленные автором из публикаций более раннего времени. Таким образом, читатель сегодня имеет возможность познакомиться с произведениями этого «рисовальщика народных нравов», написанными им в годы наибольшего творческого подъема.

Каждый из рассказов Левитова представляет собой пестрый калейдоскоп явлений, собрание человеческих типов, отголоски воспоминаний, горьких мыслей, светлых фантазий, горячих признаний, которые сменяют друг друга с непредсказуемой произвольностью. И хотя в его опусах нет ни интриги, ни четкого плана, ни захватывающего сюжета, они необычайно интересны благодаря умению беллетриста «оживить» каждую черточку своего повествования.

Писатель с большой достоверностью рассказывает о нравах, царивших на задворках человеческой жизни, однако его произведениям не чужда и некоторая поэтичность. «Он поправляет быт своей грезой и в его тяжкие будни вносит свою неизменную внутреннюю праздничность», – писал об этой черте творчества Левитова публицист и литературный критик Ю. И. Айхенвальд¹¹. Произведения этого бытописателя представляют собой яркие «лиро-эпические импровизации», в которых непостижимым образом соединены скрупулезная любовь к деталям, красочность диалогов, сочность языка, автобиографические отступления и патетические «вопли души».

Особенностью произведений Левитова является их язык, содержащий подлинный колорит народной среды и подчас являющий собой род гротеска. Так, уже одно только название последнего, опубликованного уже после смерти беллетриста очерка «Завидение муской, дамской и децкой обуви» является впечатляющим предисловием автора к рассказу о жизни вырванного из крестьянского мира ребенка, оказавшегося в смрадном чаду маленькой сапожной мастерской.

Ход повествования Левитова весьма причудлив и поражает неожиданностью ассоциаций и их верностью. К примеру, описывая одиночество деревенской девочки-ученицы, попавшей

¹⁰ Левитов А. И. Собр. соч. со вступ. ст. Ф. Д. Нефедова. М., 1884; Он же. Поли. собр. соч.: в 4 т. / вступ. ст. В. А. Никольского. СПб., 1905; Он же. Собр. соч.: в 8 т. СПб., 1911.

¹¹ Айхенвальд Ю. И. Силуэты русских писателей. Вып. 3. М., 1910. С.45.

в богатую Москву, он упоминает ее убогий «сундучишко», ставший для ребенка олицетворением родной деревенской избы: «Он уже больше не жалкий лубочный коробок, крышка которого внутри украшена великолепным портретом персидского шаха в высокой бараньей шапке, и конфетным изображением миловидной немецкой барышни с птичкой на руке – не тот коробок, который доселе обязан был хранить в своих недрах пару толстых шерстяных чулок, холщовую рубашонку-сменку, кусочек стеариновой свечки без светильни, полколоды затасканных карт и две стеклянные подвески от трактирной люстры, с отбитыми ушками – нет! – теперь он представляет собою не больше не меньше как большое село Перелазово, находящееся в шестидесяти верстах от Москвы...»

В этом отрывке, как и во всех очерках Левитова, ощущается автобиографический подтекст. Будучи блестящим рассказчиком и наблюдательным человеком, автор с точностью исследователя описывает пригороды, далекие от городского центра переулки, внешний вид домов на московских улочках, интерьеры меблированных комнат, гостиничных номеров, жилую среду подвалов, углов и коридоров и прочие обиталища людей разных судеб, оказавшихся «на дне» жизни. Ценность этих талантливых бытописаний в том, что беллетрист сам являлся таким же обездоленным жителем московских закоулков, а не сторонним экскурсантом, временно «сошедшим в народ». «Я живу в так называемых комнатах *снебилью*. Вы, конечно, не знаете, что это за комнаты *снебилью*... Скажу вам только, что те комнаты, в которых я занимаю одну, особенно отвратительны», – так начинает Левитов один из своих рассказов «Перед Пасхой».

Проживание в самых дешевых меблированных комнатах стало для писателя бесконечным источником впечатлений «о разных решительно неестественных столкновениях с совершенно невероятными характерами». Он оказался свидетелем жизненных драм, которые разыгрывались в этих убогих жилищах, и ужасные истории о безалаберно сложившихся судьбах жильцов «бездушных» домов выписаны им с искренним состраданием к их мукам.

Так, вслед за рассказчиком читатель следует по адресу, указанному на грязном листке, прикрепленном хлебным мякишем на столбе, и попадает внутрь двора дома, где сдаются «порожные» комнаты. Когда-то хозяин – «капитальная борода» – выстроил этот дом на манер «большого квадратного сундука», где первый этаж занимало какое-либо заведение или мастерская; в подвальной части квартировали извозчики и старые отставные солдаты, вечно дерущиеся на дворе; бельэтаж сняла толстая мещанка с прислугой, а третий – самый верхний – был отдан под «комнаты *снебилью*».

Левитов повидал немало таких доходных домов: «И вот через какие-нибудь полгода ярко набеленные стены нового дома покрываются копотью; штукатурка, хотя умышленно ее никто и никогда не ломал, обваливается и кажет по местам красные кирпичные раны; окна же, особенно в квартирах у извозчиков и отставных солдат, вместо стекол, залепливаются синей сахарной бумагой; в комнатах «*снебилью*» и у толстой бабы с многочисленными горничными заставляются подушками в пестрых ситцевых наволочках, – и вообще весь дом, видимо новый и крепкий, сразу как будто проживает пятьдесят лет...»

Портретные и психологические типы в очерках Левитова многообразны. Среди героев его повествований – «съемщицы комнат», которые соблюдают интересы хозяина, но не забывают и о своем коммерческом запросе. «...Эти в высокой степени интересные субъекты одинаково подарены Москве и вообще всем большим городам тульскими, коломенскими и, большей частью, ярославскими подгородными слободами. Так, молодой ли солдатке придется невтерпех от нападков мужниной семьи, или, когда так называемая ухарь-баба наскучит носить красные платки от своих деревенских ребят, – сейчас же они ранним утром соберут свои пожитки в один большой холстинный мешок, взвалив его на крепкие плечи, и, много не разговаривая, отправляются в столицу искать, между новыми людьми, новых работ и счастья».

Поступив в кухарки в какой-нибудь купеческий дом, предприимчивая баба с азартом голодного сельского человека отъедается на хозяйских харчах, копит деньжонки, «перестра-

ивает» сарафаны на платья, а затем уходит в содержательницы комнат, развесив на улице «билеты»: «Сдесь адаюца комнаты састылом и снебилю, вхот налева фперваю лесницу».

В заведениях «съемщиц» существовали особые запахи и звуки, разные типы обитателей комнат и квартир, примечательные нравы и обычаи, и Левитов рисует подлинную «мистерию», царящую внутри тоскливого жилища, заселенного бездомным народом.

В своих «сценах» писатель использует подлинный язык городских низов, передающий колорит времени и дающий богатую информацию о менталитете представителей различных слоев общества. Диалоги действующих лиц в его зарисовках настолько жизненны, что невозможно не ощутить дух эпохи и колорит образов. Обычная сценка у разгульного трактира «Крым», в описании Левитова, обращается в документальное свидетельство:

«— Извощик! — кричит молодой парень, видимо мастеровой. — Что возьмешь на Девичье поле? Там ты меня подождешь, примером, пять минут, с Девичьего поля на Покровку, там тоже пять минут, с Покровки к Сухаревой и духом назад.

— Што взять-то? — спрашивает один дядя из целой толпы извощиков, облепивших *Крым* своими калиберами. — Давай целковый.

— Облопаешься неравно! — с укоризной предполагает молодой парень.

— Сколько же дашь-то?

— Сколько дам-то?..

— Да, сколько же от тебя будет?

— Трынку! — с хохотом отвечает парень, быстро сбегая в подземелье.

— О-ой, батюшки! Шлею с лошади в одну минуту сняли! — кричит кто-то за трактирным углом».

Та часть городской жизни, которую не могли узнать «благородные» писатели и которой не придавали значения литераторы революционно-демократического толка, в очерках Левитова предстает как живое полотно, где, по ходу повествования, действуют будочники, лихачи, нищие, староверы, азартные картежники, прожившие состояние бары, страдающие «от бутылочной болезни» ремесленники, отставные прапорщики, различные чиновники, тронувшиеся умом старые барыни, студенты, гулящие, белошвейки и другие, по выражению автора, «орнаменты земного шара».

В присущей ему лирической манере беллетрист дает описания «идиллии», свойственной отдаленным московским районам типа Грачевки или Цветного бульвара, которые москвичи называли тогда: «у черта на куличках, у сатаны на рогах». «Кто знает нравы девственных улиц, тому нечего говорить, что обитатели их в восемь часов утра все давно на ногах; но кто не знает этих нравов, тот непременно подумал бы, что жители еще спали. Так было все тихо на улице, кроме табачного дыма, который густыми клубами выпускала из окна маленького домишка одна усатая ермолка, ничего не было видно на ней. Росла тут, правда, ярко-зеленая трава, увлажненная еще не высохшей росой, за заборами стояли развесистые деревья, на них чирикали садовые птицы, будочник стоял на крыльце своей будки со стаканом чая в руках...»

Замечательна способность Левитова «оживлять» и олицетворять предметы, которые как бы ведут диалог с героями. В его рассказах разговаривают не только лес, изба, но и бревно, статуи, стулья, самовары. Эта склонность автора, как она ни комична порой, пропитывает повествование большой душевностью и придает ему дополнительные оттенки. Вот как в очерке «Аркадское семейство» описывает Левитов гостиную статской советницы Анны Петровны, бывшей горничной, а в момент повествования многоуважаемой дамы, в тот момент, когда комнату впервые видит ее дочь, прибывшая из благородного пансиона: «... Уродливые жизненные представления, почерпнутые нашей барышней из «Графини Монсоро», как стая маленьких птичек, спугнутая кем-либо, в ужасе взвизгивает над уединенным полем, в страшной суматохе заметались в голове ее, когда пансионерка в первый раз вступила под убогую кровлю родительских лар. Стройный ряд соломенных стульев, вытянутых в маленьком зале, аляповатый

диван, обитый ситцем, круглый стол перед ним, созданный как будто медведем для медведя, модные картинки времен покорения Очакова, висевшие на стенах в уродливых бумажных рамках, бесстрастный портрет отца, написанный масляными красками, и даже сами гелиотропы и гвоздики на окнах – все это вместе необыкновенно покорило молодое лицо девушки...

– Так эдак-то? – протяжно подумала про себя барышня.

– Да-с! Эдак-то! – ответили ей с двусмысленной улыбкой соломенные стулья, дешевые обои, гелиотропы и гвоздики, тараканы, ползавшие по стенам, и мыши, шуршавшие за обоями.

– Да! Так-то! – басисто скрипнул ей в свою очередь медвежий диван.

– Мы здесь все так! Мы всю свою жизнь так! – монотонно подтвердил ей бледный портрет отца. В ужасе барышня порхнула в свою двухаршинную спальню и принялась плакать...

Подобные «домовые» физиономии составляют замечательные эпизоды в очерках Левитова. Вместе с Левитовым читатель погружается в мир старого города, уходит в глубину дремлющих московских переулков в Замоскворечье, где нет и помина о высоких каменных домах. «Перед вами робко вытянулся ряд скромных домиков, – подобно опытному «чичероне», писатель ведет занимательное повествование в рассказе «Погибшее, но милое создание», – с этими милыми кисейными или ситцевыми оконными занавесками... с заборами, утыканными гвоздями и увенчанными наследственными деревьями, с туго припертыми воротами, с голодной и слепой собакой, равнодушной ко всему окружающему и потому глубокомысленно-молчаливой. Ряд этих патриархальных приютов обыкновенно начинается мелочною лавкой, а оканчивается будкой. У лавки стоит краснощекий хозяин в засаленном, как чумацкая рубаха, фартуке, всегда без картуза, с руками, знаменательно заложенными за спину... На крыльце будки сидит неразгаданный будочник: я потому употребляю этот эпитет, что обыкновенно, решительно невозможно отгадать, дремлет ли будочник, утомленный долгим бодрствованием, или он так же бесцельно, как бесцельно бодрствует, смотрит на широкое картинное всполье, раскидывающееся за такую будкой».

Мучаясь одиночеством и сознавая трагичность своего существования, Левитов придает городским московским пейзажам черты психологизма. Его герой, горько тоскуя, бредет по городу в метель или дождливую ночь, ища собеседников в замерших домах или распростерших «кривые железные руки» уличных светильниках. «Фонари, освещавшие столицу, так-то жалобно, так-то скорбно моргали, словно бы старались удержать незримые и неведомые Московской думе слезы свои, которая, в жестокосердии своем, отпускает им так мало посконного масла... Жалобы фонарей, точно так же, как взвизги ветра, можно было очень ясно слышать. Они плакались:

– Что же мы с такой темной ночью поделаем?.. Ничего!..» Герои прозы Левитова – люди разных сословий, и читатель следует за ними в места их проживания, прогулок или досуга, узнавая, а чаще – не узнавая, известные московские достопамятности. «На Спасских воротах бьет двенадцать часов московского, следовательно, раннего летнего утра. Бой часов, впрочем, поглощаемый громом экипажей, криками кучеров и вообще шумным смятением той столичной деятельности, от которой невыносимо страдает голова», – начинает автор историю «Московская тайна», и вновь развертывает перед нами чудную картину былого.

Литературное творчество А. И. Левитова, этого «одинокого пролетария тоски», как назвал его один из публицистов, дает обширный исторический материал нашему современнику. В его очерках содержится немало подлинных фактов относительно нравов и традиций москвичей. Его произведения, можно сказать, имеют характер мемуаров, так как представляют собой в совокупности род лирического дневника, который писатель вел в течение полутора десятка лет своей неустроенной и несчастной жизни, изменить которую он не мог и не хотел. Его очерки раскрывают нам быт московского «дна» изнутри, и в этом величайшая заслуга этого самобытного писателя с поэтической и нежной душой.

Елена Савинова, кандидат исторических наук

Перед Пасхой (московский фельетон)

Я живу в так называемых комнатах *снебилью*^[1]. Вы, конечно, не знаете, что это за комнаты *снебилью*. Филантропия моя такого высокого качества, что я от всей души желаю вам полного неведения этого милого предмета. Скажу вам только, что те комнаты, в которых я занимаю одну, особенно отвратительны. Но дело не в том. Содержательница наших комнат имеет в своих палестинах довольно хорошую репутацию, вероятно, потому, говоря в скобках, что из всех подобных содержательниц, каких только я знал когда-либо, она самая вздорная и грязная баба, а ее клетки *снебилью* – самые дрянные, самые темные, самые разрушающие. Можете, следовательно, очень легко представить себе, сколько люда втискалось в эти клетки, потому что, как вам самим известно, стремление к грязи у русского человека природное...

И вот с самой Страстной недели^[2] все помышления этого люда были главным образом направлены к тому собственно, что как бы это раздобыть финансов, необходимых для приобретения более или менее громадной бутылки с тем веществом, без которого русскому человеку и праздник – не в праздник.

Сотни мастеровых, населяющих подземелья дома, где живу я, только, кажется, тем и заняты были во всю неделю, что таскали из откупной конторы эти ужасающие саженные бутылки, при виде которых невольно припоминалась старинная песня:

Кому чару пить,
Кому распивать?^[3]

Военное офицерство, помещающееся в верхних этажах нашего дома, в три жилы, что называется, турило из своих апартаментов неотвязных кредиторов, отзываясь тем, что ему самому будто бы жалованья к празднику не выдали; между тем как денщики одного офицерства возились с бутылками, подкрашивая их жженым сахаром, стручковым перцем, и, почти ежеминутно, тайно пробуя сами, явно давали пробовать своим господам эту замысловатую влагу, никак, по-видимому, не желая расстаться с мыслью, чтоб их военная, денщичья, так сказать, досужливость не могла улучшить этого адского зелья.



Москва. Частная застройка в районе Плющихи, вид на Пресню, Прохоровскую фабрику и Москву-реку. Справа – церковь Николая Чудотворца на Щепках, расположенная вблизи Смоленского рынка. Открытка начала XX в. Частная коллекция

В то же время и статские майоры, и прапорщики, которых тоже очень много в наших клетках *снебилью*, надели ватные халаты и вместо хождения по комнате и посвистывания, чему эта публика любит всецело отдаваться в свободное время, теперь глубокомысленно, через самые чистые тряпочки, процеживала в графины праздничный нектар, пробовала его, миролюбиво и усладительно покряхтывая, и давала пробовать своим кредиторам.

Я так долго бедствую в меблированных комнатах, что их жизненные картины не могли не опротивить мне до бесконечности; но прежде эти картины все-таки чем-нибудь да разнообразились, и я не столько из любви, сколько из тяжелой необходимости каждый день созерцать их, все кое-как мирился с ними. Но на нынешней Страстной неделе это постоянное, неизбежное подкрашивание и улучшение откупного материала нашими жильцами вынуждало меня чаще обыкновенного запирать на ключ мои пенаты и уходить от них на грязную мостовую, на дождь и холод, пренебрегая возможностью насморка, или даже утонуть в импровизированных болотах, обыкновенно украшающих московские улицы в начале всякого весеннего сезона.

Но, справедливый Боже! мои пенаты тосковали без меня на замке, я тосковал на улицах без моих пенатов, а между тем картины, выгнавшие меня из дома, были те же и на улицах. По ним ходили и ездили не люди, как в обыкновенное время, а громадные бутылки. С бесстыдством холопа, случайно попавшего в господу, задирали они кверху свои зеленые головы, заткнутые толстыми пробками, толстым и длинным туловищем своим совершенно загораживая от вашей наблюдательности людей, сгибавшихся под их тяжестью, так что решительно невозможно было видеть по лицам этих людей, последних ли деньжонок стоило им приобретение толстых бутылей, или сумм у них осталось еще настолько, чтобы на праздниках приобрести еще толстейшие.

Так как я не видел лиц людей, то кроме того, что терялся общий интерес уличного шатания, я не был в состоянии ответить себе на только что высказанный мной вопрос, а разрешением этого вопроса я не могу не интересоваться, потому что впечатления среды, меня родившей, настолько сильны во мне, что я не мог никогда окончательно забыть их. В этой среде,

помню я, глубоко бывали огорчены, если купленную к празднику бутылку грешным делом успевали распробовать на Страстной еще, а на самый праздник не смогли купить другую, и огорчение это, по моему крайнему разумению, было весьма и весьма натурально, потому что в такое свободное время, как праздничное, чем же и займетесь, если не будете пить и, находясь в подпитии, славословить? Подтверждаю это авторитетом знакомого человека.



Освящение пасок. Худ. А. Лавров. Открытка начала XX в. Частная коллекция

В далекой глуши, на моей родине, живет некий маститый старец^[4], весьма грамотный однодворец. С высоты своей жизненной мудрости он отзывался так о занятиях, приличных празднику:

– Ежели таперича «писание» читать станешь, спасения для души малость из эвтова выйдет, потому на такое время и без того черти-то все в ад посажены; дело какое – грех делать, разговаривать мне с вами, с дураками – не об чем. Что же я таперича делать должен? – Должон, следственно, я выпивать для того, чтобы сердце у меня празднику радовалось и в веселье славословило. Верно ли я говорю? – обращался он к поучаемым.

– Это точно, Митрий Захарыч, – с глубоким вздохом, до самой ясной очевидности доказывавшим общее умиление сердец, отвечали поучаемые.

Конечно, у Митрия Захарыча, знаю я, была всегда возможность раздавить одну бутылку и тотчас же послать за другой. Веселье сердца у него, следовательно, постоянно поддерживалось и славословие не прекращалось; но скажите же вы мне на милость, что оставалось делать тому человеку, который купил бутылку на Страстной, долго и тщательно подкрашивал ее, настаивал разными наборами, замазывал ее глухо-наглухо тестом, грел в вольном духу и вдруг, по искушению, всю бутылку употребил еще до праздника? Спрашиваю я весь крещеный мир, что оставалось делать такому человеку, когда он при всех стараниях, при всех подходах к друзьям и знакомым, решительно не мог добыть другой бутылки?..

Такой пассаж, не знаю как на кого, а на меня бы подействовал губительным образом: сначала я принялся бы тосковать, ругаться, пробовал бы заложить нечто из зимней одежды; но так как ростовщики, целуясь в это время со своими бутылками, дела не делают, то я, право, поднял бы на себя руки, потому что тут у меня были бы два расчета и оба одинаково верные: один тот, что двух смертей не будет, одной же не миновать, а другой: если уж умирать, так о Святой, потому что, по отечественной легенде, умершие в это время в рай попадают...

Я не простил бы себе такую шутку, если бы не имел основания шутить таким образом. Она была бы зла и неуместна, если бы в самом деле не видал я, что в праздники особенно бурливо ревут и волнуются волны водочного моря, если бы в самом деле не знал я, как море это безнаказанно пожирает столько народа, которого никто не научил еще, что праздничные удовольствия вытекают совсем не из этого губительного моря, текущего развратом и смертью.

Но, говоря без лиризма, общий результат впечатлений, навеянных на меня Страстной неделей, был тот, что в субботу, вечером уже, я отправился в откупную контору и приобрел там полведерную бутылку. Таким образом, как видите, начавши за здоровье, я свел за упокой, ибо, рекомендуя себя вниманию публики, я, Jean de Sizoy^[5], по чести должен сказать, что я вовсе не такой человек, который бы долгое время мог противостоять господствующим нравам. Подтрунивая над господами, которые подкрашивали и подцвечивали свои бутылки, я оказался больше них достойным всякого сожаления, потому что у меня не осталось времени ни подкрасить водку, ни процедить ее, а тем паче настоять и нагреть. Следовательно, я должен был употреблять ее именно такой, какой она вышла из рук матери-природы, т. е. отца-откупщика. Из такого оборота дела, пожалуй, кто-нибудь выведет то нравоучение, что надо быть снисходительным к слабостям ближних. У меня же на этот счет довольно давно выведено такое правило: трудно человеку удержаться от выпивки тогда, когда выпивает все, что около него существует и движется...

Sapienti sat^[6]! Он, т. е. sapiens^[7], непременно из всего мной сказанного выведет то заключение, которое выведет; я же иду дальше, если только я не лишился способности идти дальше, потому что, понимаете, полведерная бутылка^[8] свое дело сделала...

...Почти полночь. В комнатах *снебилью* тишь. Все разошлись по заутреням. Всегда темный коридор наш слабо освещен чуть-чуть мерцающей где-то в угле лампадкой. Кто настолько ведет одинокую жизнь, что и в эту ночь сидит один дома, тому, мало сказать, скучно, потому что того смертного томления, того, с каждой минутой более и более гнетущего, изнывания души, которое неминуемо объемлет одинокого человека, нельзя обозначить этим словом.

Мне в эту минуту скучно именно так, как сказал я, потому что я сижу один. Мне вспоминается мое прошлое^[9], когда я не был один. Сельская церковь, думаю я, иллюминирована теперь общими стараниями прихода; на улицах веселая, детски-радующаяся жизнь. Пред образами ярко горят свечи прихожан; еще ярче блестят им в глаза парчовые ризы священников. Мой десятилетний дискант валдайским колокольчиком звенит с клироса, заглушая доморощенный хор.

Ба! что это такое необыкновенно теплое вдруг охватило всю грудь мою, залило сердце и волной хлынуло в глаза? Я давно не испытывал такого ощущения. Во время оно за ним следовали слезы. Но, увы, нет теперь слез, как нет людей, с которыми я был не один!



У казенной винной лавки. Фотография начала XX в. Частный архив

Один! Что такое один? А вот что: в комнатах *снебилью* я задолжал теперь сорок рублей восемнадцать копеек. Отопру я сейчас же вот этот стол, возьму из него свои документы и сейчас же уйду из квартиры, отряхнувши прах с сапогов моих. Пойду направо – никого не встречу, кто бы сказал мне: приходи поскорее; пойду налево – тоже... И так до гроба!..

Тяжесть ночной думы об одиночестве может быть, впрочем, значительно облегчена скрежетанием зубов, не театральным, а настоящим царапанием своими ногтями своей груди, а главное – старанием уверить себя, что нет худа без добра...

«Беспомощное положение бедного, одинокого человека вызывает у него энергию, которая, если б он был обеспечен, могла бы, пожалуй, совсем не проявиться», – слышал я недавно.

«Это очень хорошо-с!.. «С» – прибавляю я здесь с той именно целью, чтобы как можно учтивее похвалить это правило.

«Когда говоришь с каким-нибудь барином, – вразумляла меня покойница-мать (а правило слышал я от одного очень состоятельного барина), – говори всегда: слушаю-с, сударь-с! Так с господами говорить, милый ты мой, политика требует. Перенимай, что тебе хорошие люди скажут, а мы с отцом последние жилы из себя вытянем, да учиться тебя отдадим. Ты тогда у нас сам барином будешь».

Бедная! Учение мое действительно порвало у вас с отцом последние жилы^[10], хотя я и не знаю, чему я выучился, точно так же, как не знаю того, кто теперь, после смерти отца, будет пахать ту наследственную полосу, которую я должен был пахать после него.

Какие, однако ж, странные думы иногда забираются в голову, как неожиданно и, по-видимому, непоследовательно вызывают они одна другую! Наследственная полоса! Наследственный сад!.. Снег на моей полосе растаял теперь, весенний разлив досыта напитал ее землю;

ждет она теперь, чтобы теплое солнце весеннее согрело ее, называвшую зимними холодами, – ждет, чтобы приехал пахарь-хозяин и бросил семена в ее теплые недра. Говорю: ждет еще всего этого моя полоса, потому что в настоящую минуту так же пусто, так же грустно и молчаливо на ней, как вот в этой комнате. А сад?.. Ранняя нынче весна, и надо полагать, что дорожки его просохли уже; но верно и то, что тихо и пусто теперь в нем, как тихо и пусто на полосе. Как, я думаю, испугались и забегали зайцы, приютившиеся в нем на зиму, когда увидели, как на сельской колокольне запылало зарево праздничного освещения! Я как будто слышу даже, как шуршат они в непроходимом вишняке, стараясь укрыться в его разреженной морозами чаще. И думается мне, что и сад, запущенный вследствие моего учения разным наукам, ждет теперь, когда кончится обедня и взойдет светлое, праздничное солнце. Не пусто будет тогда в нем, потому что выбегут в него в это время резвые дети, такие же красивые и цветущие, как были, припоминаю я, красивы и цветущи молодые вязы, что росли в четырех углах нашего сада.

Вот передо мной и вязы, под тенью которых я, мои братья и сестры играли когда-то. Так, это именно стоят теперь передо мной стройные стволы деревьев, которые росли вместе со мной; это их зеленые листья, что, бывало, вечно шепчутся меж собой и заставляют задумываться. А вот за чертой, которую делали вязы, и родное село. Я живо вижу его тихую улицу. Через пятнадцать лет я не забыл ни одной лачужки.



Обитатели ночлежного дома на Хитровке. Москва. Фотография начала XX в. Частный архив

Прошное, прошное мое! Картины твои все те же, какими они были когда-то. Где же люди, которые их оживляли? Ведь без людей они мертвы.

Умерли люди, умерли! – говоришь ты мне, старина.

Все умерли?

Все.

Хорошо-с! Это очень хорошо-с! А полоса моя, а сад мой, вязы, село – все это живо еще, все это, рассчитываю, не изменилось?

Рассчитывай! Все это не изменилось, все это живо.

Спасибо, старина, спасибо.

Гром кремлевских пушек прокатился в этот момент по московским улицам. Но думы мои, испугавшись этого грома, не вдруг отлетели от меня. Я осмотрелся. Передо мной за столом сидел мой сосед по комнатам *снебилью*, выгнанный из службы, – талантливая натура. Полведерная, не подкрашенная бутылка нагло возвышалась на столе, уменьшенная, впрочем, более нежели на четверть.

Я бросился к открытому окну. В глаза мне наказывающей молнией блеснула иллюминация Ивана Великого, в лицо пахнул холодный ветер ночной. Сотни колоколов таинственно говорили с сурово молчавшей ночью о воскресении Вечного Света, разгоняющего всякий мрак... В тысяче мест тысячью громовых голосов раздавалось громовое пушечное эхо.

– С прра-а-здником! – бормотал мне полусонный и совершенно пьяный сосед. – фыпьем, лю-бе-е-зный др-руг!

Я не мог отвечать ему, потому что язык мой не слушался меня. Мою душу и голову жег огонь сознания, что в эту ночь я гнусно надругался над святыми заповедями отца и матери.

Стали они перед глазами моими, эти простые, столько любившие, столько страдавшие люди; головы свои седые склонили к чахлым грудям и плачут.

Молча плакали они, но мне понятно было, что они хотели сказать мне: «Обманул, ты нас, Ваня! Обманувши, в гроб силой вколотил», – слышалось мне в мертвенно-унылой тиши комнат *снебилью*...

Московские комнаты «снебилью»

I

Вступление

Растрепанно и сумрачно как-то высматривают на Божий свет дома, в которых есть эти так называемые *комнаты снебилью*. Лучшие дни молодых годов моих безвозвратно прожиты мной в этих тайных вертепах^[1], где приучается, как может, пугливая бедность.

Бесконечно длинной вереницей возникают в голове моей воспоминания о разных решительно неестественных столкновениях с совершенно невероятными характерами, когда я случайно увижу на воротах какого-нибудь высокого дома билет с уродливой надписью: *сдесь сдаюца комнаты снебилью*.

Каким-то странно болезненным чувством прохватывается все существо мое, когда я увижу, как бьется и трепещет на ветру лоскут серой, грязной бумаги, нелепо примазанный к воротному столбу мякишем черного хлеба, потому что перед глазами моими вытягивается тогда несчастная шеренга бездомовных людей, которые самой судьбой, кажется, осуждены на вечное скитание по этим *комнатам снебилью*, рекомендуемым серым лоскутом.

И при виде бедных людей этих – сотоварищей печального пути моего по бурному, если не смешно так выразиться, морю житейскому, живее чувствуется мне мое прошлое горе, глубже западают в душу настоящие невзгоды и нужды, потому что грустно размышляю я в это время о бесконечном ряде справедливых жизненных драм, обыкновенно разыгрывающихся в этих комнатах на страшную тему о гибели молодой, энергичной жизни, разбитой нуждой железной.



Бездомные. Худ. И. М. Прянишников. Открытка начала XX в. Коллекция ГИМЗ «Горки Ленинские».

«Брат мой! – слышится мне мягкий голос редко когда уже вспоминаемого юноши, с которым, в пылу молодых мечтаний о великом и добром труде жизненном, побратались мы на жизнь и на смерть, – и в этой радости, чтобы был ты при смерти моей, мне отказал Бог!»

Страшной, томительной мукой наполняют душу мою слова эти, потому что, на великое несчастье мое, так ясно, так осязательно представляется мне в это время прекрасная жизнь в тяжелой борьбе с мучительной смертью, – и не могу я тогда дать себе отчета в том, для чего существовала эта жизнь, зачем она, жаждавшая счастья и деятельности, так долго и так тяжело страдала, и наконец, зачем она, не выдержавши этих страданий, так видимо-незаконно умирает теперь в глазах моих, не примиренная с грубостью жизни ни одним словом утешения, ни малейшим признаком участия людского?..

И другой образ, грациозный и светлый, восстает предо мной. Как и в прежнее счастливое время, беспечальный и наивный, шутливо лепечет он мне о вечной разлуке с дорогим человеком.

«Ах, сосед! – говорит мне милый голос. – Как он умирал страшно, сказать не могу. Ведь знаете вы, какой он всегда смирный был да веселый; а тут... ах! вспомнить ужасно: зеленый,

зеленый весь сделался, ровно трава вешняя, и как же бранился он страшно, зубами как скрежетал!.. Одна я только умирять его немного могла. Положу, бывало, руку к нему на лоб и смотрю на него, – он как будто и покойнее станет. Вижу я так-то, что уж немного ему жить остается, и говорю: «Ты бы, – говорю, – родным что-нибудь написал». – «Да, точно! – говорит, – написать нужно. Напиши, говорит, ты повестку такую общую и родным, и знакомым моим, что, дескать, родственник ваш, или приятель такой-то (знаешь, говорит, как на бал приглашают), умирая, изъясняет свое крайнее сожаление, что не может он вам на прощанье всем в глаза плюнуть!.. Покорнейше проси их извинить меня на этот раз: сил, скажи, не было...» Долго он тут смеялся, отвернувшись и от меня к стене; с тем и умер. А за ним и меня отнесли. Не могла я жить без него, – тоска страшная очень мне грудь надсадила. Вот и платье, в котором меня схоронили. Прелесть что за платье такое! Белое-белое, как «кипень»^[12], – с улыбкой лепечет девушка, употребляя слово своей далекой родины. – Жаль, не было вас: голову мне в это время убрали цветами, и подушку, и гроб – все завалили цветами (недороги цветы были тогда, – весной я умирала), и несли меня все наши девушки. Вы их всех знаете: те, с которыми я на одно место работала, – они все при вас бывали у меня. Ах, помните вы, как нам весело было! Хозяйка-то нас распугивала как, помните? «Деньги, – говорит, – подавайте: первое число подошло». Не могу без смеха вспомнить этой хозяйки: совсем у ней «мужчинская» борода была и голос толстый такой. Я всегда думала, что она меня съест, когда, бывало, не достанешь ей денег к первому числу. Ну, прощай, сосед! Я улечу сейчас; я летаю ныне – вот посмотрите».

И действительно, словно белый голубь, то взвивалась она в далекое поднебесье, то снова спускалась ко мне, порхая перед глазами моими какой-то невиданной птицей и чаруя меня своей милой улыбкой, с которой она показывала мне недавно приобретенное умение летать.

– Што, те комлу^[13] што ль надуть? – рычит недавно приехавший из самого степного села дворник, злой от вчерашнего похмелья, суровый и всклокоченный по природе. – В четверто крыльцо на третий этаж по коидору ступай, там те комла и будет.



«Крысиные норы» – жилые помещения в подвале церкви Троицына Сретенке. Фотография начала XX в. Частный архив

Испугался милый призрак сурового голоса и улетел на небо, а мрачный дом по-прежнему мрачно и неустанно смотрит на улицу своими бесчисленными окнами, сторожит, должно быть, чтобы не вылетели несчастные птицы, заживо погребенные в его душных клетках; и грязный билет тоже по-прежнему бьется и трепещет на ветру своими двумя отклеившимися углами, останавливая на себе внимание проходящих.

– Ты там Татьяну-съемщицу спроси^[14]! – продолжает дворник, – так, ее, Татьяну, и спрашивай: «где, мол, тутотка Татьяна живет?» А как, примером, Татьяна тебе скажется, ты и скажи ей, где, мол, у тебя комла тут порожняя есть? Дворник, мол, к тебе спосылал меня.

Обыкновенно я не пользуюсь в это время указаниями дворника. Я иду дальше от него и от дома, потому что оба они тогда кажутся мне в одинаковой степени деревянными.

– Ишь ты попер как! – рычит дворник. – Беспременно сдуть что-нибудь норовил. Што это за шельма народ в Москве, братцы мои! Так т. е. и норовит к тебе с сапогами совсем в рот залезть!..

II Съемщицы

Самый рельефный и красивый орнамент *комнат снебилю* – это Татьяны, съемщицы комнат, главные жизненные цели которых по преимуществу заключаются в том, чтобы вынудить себе от своих жильцов и от приходящих к ним гостей почетный титул мадамы, – и Лукерьи – лица, неизбежно кухарствующие в комнатах. Эти два божка обладают почти одинаковой силой, дающей им все возможности или разбивать наказательным громом и сожигающей молнией те несчастные существа, которые отдались их команде, или обливать их горемычные головы до бесконечной пошлости надоедающим дождем своих безобразных благодеяний, судя по тому, насколько несчастные существа, командуемые ими, наделены благодетельной природой способностями приобретать себе благорасположение или обратное чувство со стороны Татьян и Лукерий.

Оба эти, в высокой степени интересные, субъекты одинаково подарены Москве и вообще всем большим городам тульскими, коломенскими и большей частью ярославскими подгородными слободами. Так, когда молодой солдатке придется невтерпеж от нападков мужниной семьи, или когда так называемая ухарь-баба^[15] наскучит носить красные платки от своих деревенских ребят, – сейчас же они ранним утром соберут свои пожитки в один большой холстинный мешок, взвалив его на крепкие плечи, и, много не разговаривая, отправляются в столицу искать, между новыми людьми, новых работ и счастья.



Торговки из сельских пригородов на Сухаревском рынке. Фотография начала XX в. Частный архив

При начале своей карьеры, начинающейся обыкновенно с кухарки у какого-нибудь купца третьей руки, баба неизбежно дуреет при виде этой всегдашней суетни столичной жизни, которая, даже и в самых тихих своих омурах, всегда слишком резко бросается в глаза, дотоле исключительно смотревшие на одни зеленые деревья и травы, так густо опушающие тихие деревенские улицы. Долгое время, с крайне бесцельно, но вместе с тем напряженно-выпученными глазами, всматривается баба в непривычные жизненные явления той области, в которую занесла ее лошадиная судьба, и немало, по ее словам, «издивляется»^[16] этим явлениям. Долго она, как дубок, пересаженный с одной почвы на другую, гнется во все стороны, поставленная в необходимость болеть от той так жирно намащенной каши, которой купеческие дома имеют необузданность начинять свою прислугу. Напустившись с азартом голодного сельского человека на эту национальную сласть, поджаристость которой так ясно наложена обильными поливаниями хозяйского масла, баба тем «скуснее» слизывает с ложки горы лакомого снадобья, что за обедом, вместо угрюмых, изработавшихся лиц своих семейских мужиков, она видит разухабистых Захаров в красных рубахах, с блестящими серьгами в левых ушах^[17], – веселых Захаров, непременно довольных и собой, и хозяйской кашей, с глазами лукаво прищуренными на новую стряпуху, с бойкой, вырывающей из компании волны хохота, поговоркой:

Лей, кубышка, поливай, кубышка!
Не жалеи хозяйского добришка!

выкрикивает удалой Захар, любезно знакомясь с новой соседкой посредством ошарашивания ее в бок локтем.

– Что, – спрашивает он ее при этом знаменательном поталкивании, – приуныла? Аль ты нас молодцев, невзлюбила? Аль хозяйское добро в рот нейдет? Свыкнется, слюбится, стерпится, – на веселье печаль наша сменится. Будем мы с тобой жить-поживать, добра наживать да в кабаке его на сладком винце пропивать. А ты молодецкую речь слушать-то слушай, а сама не зевай: видишь, каша-то вся уж!..

– Будет тебе, черт, шутки-то шутить! – говорят Захару соседи. – Напугаешь ты бабу-то ими. Видишь, не привыкла еще к нашим порядкам.

Осмотревшись, Татьяна действительно видит, что каша уже вся в самом деле, но ее несколько не печалит это обстоятельство. Ее до того ошеломили жирные щи и жирнейшая солонина, со слабым подобием которой она во все продолжение своей сельской жизни знакомилась только по Рождествам да по Святым, что Татьяна едва настолько может работать своей победной головой, чтобы хоть немного удивиться складным разговорам шутливого соседа. Неудержно клонит ее к сладкому сну, в первый раз попробованная, купецкая трапеза, – лупит баба свои большие серые глаза, стараясь не показаться соней, лупит и ничего не видит, прислушивается ко всему самым внимательным манером и ничего не слышит.

– Что ты, словно идол какой, из стороны в сторону мечешься, а настоящего дела не делаешь, дура ты эдакая деревенская, неповитая! – кричит на нее грозный хозяйский голос. – Ну, куда тебя черти несут? Я тебе велел самовар ставить, а тебя шуты-то на погребницу^[18] поволокли.

«О Господи! – потихоньку творит молитву сельская дура в своем сонном бодрствовании. – Ничего-то я, грешная, не слышу. Вот они враги-то где сильные! Не то, что по селам...»



Точильщик ножей. Москва. Открытка начала XX в. изд. «Шерер, Набгольц и К^о». Частная коллекция

Наконец, оставшийся от хозяев чай прогоняет сон кухарки вместе с ее тревожными мыслями. Только в окне неустанно жужжащие мухи чуть-чуть заметно нарушают ту несмущаемую тишину, которая обыкновенно царствует по купеческим кухням в послеобеденное время. Захары все до одного человека разошлись, как они говорят, по своим обязанностям, а хозяйское семейство непробудно спит в прохладных хоромах.

«Ничего в городе жизнь-то!» – думает про себя Татьяна, свободно припоминая в этой тишине, что если первый день ее службы принес ей некоторое огорчение, зато он принес ей и наслаждения, которых она никогда не испытывала в своей убогой сельской жизни.

Вертит баба перед жадными глазами кусок сахару и, любуясь им, с великим удовольствием прощает городскому дню искушения и нападки, которыми на первый раз он так смутил простую сельскую душу.

«Запужалась я давеча некстати с непривычки-то! – развивает Татьяна свою безмолвную думу. – В этом раю не жить, так где же и жить?» И после этого вопроса живо вспоминается ей и завтрак из пшенной каши, вареной на молоке, в котором плавало коровье масло за первый

сорт, и жирный обед с ухарскими приговорками Захара, и настоящий чай. «Бывало, поглядишь только на сахар-то, как он, ровно ранний снег, белелся в руках у поповен да у дворовых, когда они чай пьют; а теперича нака-сь! Воочью у меня сахар-то. Захочу – сейчас весь кусок сгрызу, а захочу – понемножечку сосать буду. Что это за сласть такую придумал народ! Толкуют по деревням: из немецкой земли его возят; там его, говорят, из собачьих костей делают. Ну, да ничего. Пушай себе из собачьих, – окромя как одной сласти, никаких в нем костей я не вижу. Полагать надо, врут все это, потому народ по деревням знамо какой – глупый народ!...»

Блаженствуя и посмеиваясь тихомолком, делала Татьяна этот первый шаг на поприще забвения своей прежней горемычной жизни, который обыкновенно, также не задумавшись, делает всякий сельский человек, когда хоть чуть-чуть смекнет, что и на его, до известного случая тощее, тело напластываются наслоения жира, и когда почувствует, что и в далеком будущем ему предстоит полная возможность справлять праздники неуклонным за жариванием жирных кулебяк и задираньем вверх носа, одуренно занюхивающегося в такие времена ароматом, который бьет от нового китайчатого^[19] кафтана на плечах счастливец и от его скрипучих, смазанных чистым смоленским дегтем, сапогов...

И дальше идет татьянина дума, в первый раз, может быть, не сдерживаемая ни семейским, ни своим убожеством:

«Коего шута, прости Господи мою душу грешную, давно оттелева я не бежала? – спрашивала баба с сильным ожесточением на свою недогадливость. – Есть тут кому побранить тебя, зато, по крайности, ты знаешь: не мужик тебя серый лаёт, а хозяин-купец уму-разуму учит. Душа, по крайности, за хлебом-солью у добрых людей отдохнет».

Таким образом, кусок сахара изгоняет из памяти неблагодарной Татьяны ее голодную сельскую родину. С неутомимым азартом в первый раз обласканного, хотя и без намерения, русского человека во весь остальной вечер отворачивает она тяжелую хозяйскую службу, стараясь отблагодарить за эту ласку.

После ужина хозяин спросил свою благоверную:

– Што, баба-то какова? Есть за что хлебом кормить?

– Баба, сказываю тебе, – золото! Воротит все до страсти; пыль столбом валит, как она тут действовала, – ответила благоверная.

– Ну, это чудесно! – благодушно говорит хозяин, засыпая.

Татьяна между тем за кухонной перегородкой свое толковала.

«Наработалась я очинно, – говорит, – опять же и пища такая, словно в заговенье^[20], так и валит! Господу Богу-то завтра уж, видно, и за спанье, и за вставанье поутру враз помолюсь...»

III

Тот недолгий период времени, в который Татьяна переделывается из купеческой кухарки в съемщицу *комнат снебилю*, самый блаженный период во всей ее жизни, ибо в это время она простодушно и благодарно пользуется благами, предоставляемыми ей купеческим домом, по всегдашней пословице, полным, как чаша. Не видав никогда ничего изящнее сооруженного на медвежий лад хозяйского дивана под красное дерево и гостиной, обитой красно-лапчатыми обоями, расписанной пузастыми амурами, рогами изобилия, лирами и тому подобными штуками, – Татьяна почитает живущих в этом доме не иначе как за мощных своих повелителей, могущих с одного маха срубить ей голову и с одного маха же опять приставить ее к плечам. Слишком кислую и вяжущую оскомину набила Татьяне сельская редька с серым квасом, чтобы ей можно было без полного благоговения садиться за воскресный пшеничный пирог, от которого так приятно-щекотливо ударяло в нос затомленной в жаркой печи говядиной с яйцами, с рисом, с маслом, с луком – этим приобретающим, вследствие печения, какую-то неимоверно вкусную сладость лучком, который, в компании с мелко-намелко растолченным перцем, составляет окончательное украшение всякой кулебяки, назначаемой для праздничного лакомства верным купецким личардам^[21].



Кухарки покупают зелень и овощи на московском рынке. Открытка начала XX в. изд. «Шерер, Набгольц и К°». Частная коллекция

Девичья свежесть хозяйской дочери, неизобразимо неуклюжая толщина водовозного мерина, молчаливая угрюмость *самого* и криливо-безалаберная доброта *самой* – это, так сказать, с самого дна Татьяниной души выволакивает искренние дани всякого сорта признательностей благодетельной судьбе за свое счастливое положение.

Веками и психологией освященная поговорка, что человек в сей жизни, даже находясь на самом верху славы и величия, не может быть доволен своим положением, сделалась бы

крайне несостоятельной в глазах философа, который бы хоть мельком взглянул на Татьяну в этот цветущий период ее жизни.

– Што это, Татьянушка, работищи у тебя какая пропасть! – удивлялась какая-нибудь ее деревенская знакомая, сидя у нее в гостях. – Эдак ты через силу будешь чугуны-то ворочать, – животы, пожалуй, сразу надорвешь.

– Не работала рази я дома-то? – с сердцем спрашивала Татьяна. – Работала, кормилица, по целым дням окромя заваливающей крови во рту не бывало, а все работала, ровно лошадь дву-жильная, неустанная. Здесь мне не в тягость жить, потому корм хороший, компания веселая. Все к тебе с добрым словом, не то чтобы за косы да в поволочку.

Таким образом, несмущаемо-довольная своей жирной судьбой, Татьяна с каждым днем толстеет все больше и больше на удивление и похвалу честному купецкому миру. Красноватое, вечно сморщенное лицо, которое носила Татьяна до поступления в кухарки, сделалось теперь мужественно смуглым и довольным, слезливые глаза широко раскрылись, черные зрачки их заблестали каким-то лукавством, сметкой какою-то, говорящей как будто: «Ну, брат, обжегорить меня вряд ли удастся тебе. За этим делом, друг ты мой сладкий, приходи к нам в четверг после дождичка!..»

«Как скоро отъелась эта Татьяна, братцы мои! – толкуют про кухарку ее сожители по кухне, Захары. – Выровнялась баба на удивление, – глядеть на нее, почитать, нельзя!..»

А Татьяна слушает эти речи и посмеивается себе втихомолку. Посмеивается всем этим соседним кучерам и проходящим солдатам – *Ликсей Ликсеичам*, вечно показывающим с господского крыльца свои немецкие шюртуки, и простым рабочим, гармониками и балалайками оживляющим праздничное свободное время, хлещет в глаза своим ситцевым, разводиستم сарафаном. Смотрит на нее праздничный народ, как она на лавочке у калитки сидит, в пестром шерстяном платке, в белой кисейной рубаше, от которой на белые руки пышные рукава речной волной упадают, – смотрит и сквозь зубы с тяжким вздохом цедит:

– Н-ну! Эдакая баба хоть кого из нашего брата на чужой стороне сбережет!..

А Татьяна на все эти штуки бровью даже черной не ведет.

– Будет тебе, шарамыжник, разговоры-то разговаривать! – обыкновенно отвечала она какому-нибудь зарубившему праздничную муху лихачу^[22], когда он растолковывал ей о прелестях, совершающихся по праздникам в полпивной^[23] его будто бы закадычного друга и односельца. – Знаем мы, какой он тебе друг-то! Кабы он тебе друг был, не пустил бы тебя без сапог намедни.

– Дура! – презрительно отзывался лихач о Татьяне, когда она напоминала ему о несчастном, хотя и действительном случае, когда односелец-полпивщик стянул с него сапоги за некоторые бутылки, превышавшие праздничный бюджет лихача.

Татьяна не оставалась в долгу у лихача.

– Сволочь! – отвечала она ему с насмешливым презрением, и тут же тонким, заунывным голосом затягивала какую-нибудь песню своей, с каждым днем все больше забываемой, родины.

Много мужских и женских ретивых сердец, тоже, как и Татьяна, отдохавших на улице святым праздничным временем, слушая ее мастерскую песню, вспоминают тогда о том, какими теперь разноцветными лентами развиваются по родимым, оставленным улицам знакомые хоро-воды; на чужой стороншке въявь слышатся им родные голоса, пред глазами медленно хлещут, усмиренные предвечерней тишиной, волны речные, за ними зеленеется луг, а там расстилаются кормилицы-поля, – и вот из соседних домов один за одним подходит народ к Татьяне, как первой песеннице квартала.

– Не полегче ли душе будет, как песню другую сыграешь; а то, признаться, так сердце для праздника защемило – страсть! Три года вот уже домой не соберуся никак, – толкуют Татьяне подходящие соседи.

Слово за слово, песня за песней, и невидимо как приблизился темный вечер, в который еще грустнее делается от этих скорбных ахов и охов нашей народной песни. Слушал, слушал ее с балкона, вплоть закрытого плющом и маркизами, молодой сосед, богатый купец, и не вытерпел, чтобы не вскрикнуть:

– Будет вам, ребята, душу тянуть из меня! Валяйте-ка лучше плясовую какую-нибудь; я вам сейчас водки и пять целковых пришлю.

На долю Татьяны досталось из этих денег *три* двугривенных. И часто такие случаи выпадали. Деньга валила к Татьяне невидимо; нашла она себе цветных сарафанов, тонких кисейных рубаш, накупила позолоченных перстней со светлыми каменными глазками – и непрерывно блаженствует, потому что, хотя и по немалом пристаивании, один из самых заухабистых, самым неотвязным образом ухаживавших за ней, Захаров наконец-таки покорил ее долго нечувствительное сердце и с большим парадом водил ее, что называется, вдребезги расфуфыренную, в полпивную по воскресным и праздничным дням.



Холодный сапожник. Москва. Открытка начала XX в. изд. «Шерер, Набгольц и К°». Частная коллекция

– Где ты ворожке такой научился, что бабу эту лютую к себе присушил? – спрашивали у счастливого его приятели-лихачи, истратившие некогда много пятиалтынных на бесплодное угощение Татьяны пряниками и орехами.

– А всей моей ворожки и было тут только, что красота да удаль наша молодецкая! – хвастливо отвечал Захар. – Теперь с этой самой бабой в жисть мою не расстанусь. Сказывают, отец там женить меня на какой-то сельской дуре собирается. Только он это, надо полагать, затевает напрасно, потому я теперь всякого горя ему за это наделать могу...

– Был такой слух и у нас на фабрике, – коварно передают Захару завистливые приятели про небывалый слух.

– И у вас уж знают? – азартно спрашивает Захар. – Значит, старый-то там не шутки шутит. Только вот праздник теперь у нас, братцы, не даст мне тот праздник соврать; а я вам, молодцы, говорю, ничего со мной старик в этот раз не поделает, потому я в солдаты – и она за мной... Так ли говорю, Татьяна?

– Милый ты мой, золотой ты мой! известно, што горе теперича мы сообща мыкать должны. На то и в знакомство вошли... – тихонько говорит Татьяна, стараясь усмирить ласками порывы своего любезного, который неоднократно уже порывался разорвать на себе красную рубаху, для того чтобы видели и верили люди, что он теперь против отцова желания неудержно пойдет...

И на этом пути, как видно, Татьяне везло. Сын за свою любушку восстал против своего сердитого отца, завет родителей, учивших его при отпуске из дома – против женской красоты воевать неуклонно, – забыл, на ее красоту глядячи; а теперь при одном слухе только, что отец подыскивает ему разлучницу, по целым дням кипит и горюет своей молодой душой.

Но недаром играется в песне, что

«Сладки яства приедаются,
красны платья скоро носят».

Раздобрела Татьяна до такой степени, что кто бы только ни посмотрел на нее, непременно говорил:

«Ну, уж с этим телом больше ничего не поделаешь. Раскормить его, чтоб оно было более и толще, никакой пищей невозможно».

Лишь только увидала себя Татьяна в таком положении, сейчас же тоска на нее напала великая, – и принялась она в этой тоске ныть и с хозяевами, как говорится, храпеть, т. е. зуб за зуб. Ей кто-нибудь слово скажет, а она на это слово десять своих в ответ, да таких, что каждое из этих слов всякого человека по лбу словно обухом ошарашивало.

– Что это какая у нас Татьяна брехучая сделалась? – удивляются промеж себя хозяева. – Прежде, бывало, водой не замутит, а теперь слова сказать нельзя. К работе рук не прикладывает. «Я, говорит, в крепость вам еще не продавалась». Уж не прогнать ли ее.

– Посгоди маленько прогонять-то, – вступился *сам*. – Разве не видишь, баба с жиру сбесилась... Это со многими на моих глазах бывало; это у нас в Расее – словно болезнь какая по рабочему народу ходит. Ты вот погоди, я ей маленько жиру-то поспущу: поутюжу ее безделицу, чтобы не заедалась. Ежели с этого не пройдет, тогда гони, потому самый она тогда пропащий человек выйдет...

А Татьяна между тем свое разговаривает:

– Что это, – говорит, – Господи, долю ты мне какую послал горемычную? Весь век свой все я из-за чужих рук выглядываю. Ни тебе куска в рот по своей воле нельзя положить, ни покою никогда, как у добрых людей, не бывает!..

А тут эти разные странницы и салопницы, ожидающие в кухне хозяйского подаяния, еще пуще разжигают горящую бабу.

– А ты, – жалостливо толкуют они Татьяне, – смирись. Хошь и трудно тебе с сердцем своим совладеть, а все же смирись, потому Господь Бог все видит.

– Милая ты моя! – вскрикивает кухарка, ободренная этой поблажкой, – стараюсь ведь я всячески для них, – ничего не поделаешь! Все пуше меня злость разбирает, гляючи на их безурядье; а ведь они тоже носы-то вон куда задирают, словно господа какие! «Мы, говорят, купцы. Грубить будешь, фартальному подарок пошлем, он тебя в полиции отдерет...» Ведь вон они черти какие!

– Ох, жалость меня на тебя разбирает, Татьянушка! Сделай-ка ты по моему совету: на-ка тебе вот эту самую травку и положи ты ее, мать моя, под изголовье к *самой*, – авось, может, перестанет она на тебя лютовать. *Сам-от* – ничего, все молчит; а она – ох, какая подхалимая бабенка, опять же и злющая! Третьего дня сижу у ней, а она мне и говорит: «Что мне только с этой змеищей-Танькой делать, ума не приложу!...»

Но всех больше поджигала Татьяну одна московская солдатка, давнишняя содержательница *комнат снебилью*. Прошедшая огонь и воду и кроме того все тридцать четыре мытарства, бабенка эта познакомилась с Татьяной следующим курьезным образом. Раз как-то несчастная коммерсантка, проюрдонивши деньжонки, полученные вперед от жильцов, шаталась по рынку с кульком и с хлебными крошками в кармане, вместо денег. Притыкалась она то к одному, то к другому мяснику, пробовала то одного, то другого лавочника веселой шуткой взять, только время подходило уже к обеду, а коммерсантка кроме как, по ее словам, одного невежества ничего к обеду приобрести от торговых людей не могла.



Москва зимой. Вид Тверской улицы у Леонтьевского переулка. Открытка начала XX в. изд. «Шерер, Наболиц и К°». Частная коллекция

Тяжелая мысль быть пробранной за неприготовление обеда голодными жильцами, а паче того отставным поручиком Бжебжицким – сорвиголовой, поселившимся с бою в лучшей комнате, засела в мозг бабы и мучительно сверлит его.

«Рази не убежь ли мне на нынешний день куда-нибудь? – думает пугливая баба. – Завтра, может, достану где-нибудь деньжонку, так пирогов им напеку, а барину-то окромя еще полуштоф^[24] поставлю, – вот он и смиляется».

А Татьяна между тем пылала в это время желанием знакомства с какой-нибудь благородной женщиной, приказницей что ли какой, которая бы ходила в чепце и в немецком платье. Коммерсантка в этом случае как раз удовлетворяла своей особой аристократическим татьяниным стремлениям. Плюгавая и сморщенная по физической природе своей, она тем не менее всегда с особой бойкостью юлила около людей, которых судьба посылала ей в кормильцы и поильцы. Шик, с которым она донашивала старые платья и чепцы, какими снабжали ее различные ветреные, но великодушные Лизетты, постоянно, во время какой-нибудь невзгоды, наполнявшие ее комнаты *снебилью*, был неподражаем. Этот шик свойствен только тем немногим бедным созданиям обоего пола, которых судьба взяла, как об этом говорится, от сохи на время и поселила в столице. Поселила она их в столице и щедро рассыпала пред их деревенскими и, следовательно, простоватыми глазами всю изящную роскошь цивилизованного города, – и вот смотрит-смотрит на эту роскошь какой-нибудь красивый русский парень, толкнутый барской рукой в слесаря, и вдруг ни с того ни с сего пропивает свою праздничную поддевку^[25], сшитую дома, и покупает на толкучке какое-нибудь жалкое подобие^[26] сюртука и говорит про себя, любовно оглядываясь в тусклое зеркало вонючей харчевни:

«Вот когда мы зафрантили-то!.. Сейчас умереть, на деревне меня бы теперь ни единая душа не узнала, потому, как есть, немцем стал!..»

Трудно вообразить себе что-нибудь жалче такого молодца, когда он в какой-нибудь праздник идет в своем новокупленном наряде с талией большей частью болтающейся по пяткам, в русских сапогах с длинными голенищами, за которые заткнуты оборваннейшие штанишки. Суконный замасленный жилет с пуговицами в два ряда, с бортами, лежащими на груди в виде каких-то собачьих ушей, и красный ситцевый галстук, обверченный на шее раза три, окончательно довершают сходство новорожденного немца с коровой в седле. А если немец к этому прибавит еще извалявшуюся шляпенку, а по жилету развесит толстую бронзовую цепочку от томпаковой луковицы^[27], тогда поистине чудеса всего мира не представят вам ничего комичнее этого зрелища.

Почти одинаковые комедии разыгрываются и бабами, кухарствующими в столицах. Их коленкоровые^[28] чепцы с густыми фалбарами^[29], их собственноручно устроенные кринолины^[30] приводят в несказанный ужас даже те сердца, которые самым кавалерским образом относятся к человеческому роду.

«Господи! – восклицает даже и такое сердце при взгляде на сельскую бабу в праздничном немецком платье^[31]. – Зришь же ты, Боже, неуклюжесть эту слоновую и не метешь ее с прекрасного лица земли!..»

Ощущая в себе неодолимое желание уважать такие чепцы и такие кринолины, Татьяна долгое время искала себе женщину, которая бы могла ей перестроить ее сарафаны на платья, помогла соорудить кринолин и сшить чепец. В этих видах она, встречаясь с коммерсанткой на рынке, всегда приветствовала ее низким поклоном и пожеланием доброго утра. Но коммерсантка долгое время не отдавала должного внимания этим поклонам и пожеланиям, ибо связываться со всякой деревенской швалью было решительно вне ее цивилизованно-плутоватых нравов.

Но в описываемое утро, когда коммерсантка приставала со своими просьбами о говядине к невежественным торгашам, когда в ее неоднократно напуганном воображении проносился грозный образ отставного поручика Бжебжицкого, с длинным чубуком в красных руках, требовавший от нее обед или жизнь, – в те, говоря, горестные моменты появления на рынке Татьяны, как и всегда смиренно и непрощенно раскланивавшейся, сразу умирало тревожную душу недоступной до сих пор коммерсантки. Маленькая и, так сказать, чепцеватая бабенка, подшпориваемая Бжебжицким, подбежала к Татьяне дружелюбной иноходью и завязала с ней разговор следующего великосветского свойства.

– Здравствуй, здравствуй, Татьянушка! Что твои идола-то?

– Да что, сударыня! – ответила Татьяна с досадой, – про моих идолов и разговора нечего заводить. Поедом они меня съели.

Концом этого разговора был заем в рубль серебром, который коммерсантка мимоходом как бы перехватила у Татьяны на самое короткое время. Конечно, рублевый заем не такая великая вещь, чтоб о нем нужно было очень много распространяться; но с него начинается эпоха стремлений Татьяны к кофе *внакладку*^[32], начинаются ее знакомства с различными барышнями, жилищами коммерсантки, рекомендовавшими себя гувернантками без мест, сиротами полковника или даже генерала, и в крайнем только случае вдовами разорившихся, но некогда первогильдейских купцов.

– Как мы с тятенькой в Орле жили, так это даже страсти! – говорит генеральская сирота, перекраивая Татьянин сарафан на платье. – Был тятенька мой, Татьянушка, первым лицом в городе. Все господа в гости к нам ездили, и мы ко всем ездили.

– Торговали мы, милая Татьяна Лексеевна, – в другое время растолковывает ей вдова разорившегося миллионера, – красным товаром. Было, может, его, красного-то товару, в наших лавках на несколько миллионов... вот как! А теперя, сама видишь, какое горе терплю, и все мне Господь помогает за мою, должно быть, простоту прежнюю.

Одним словом, все эти чужеядные растения наперебой кинулись перешивать сарафаны Татьяны, поить ее чаем, *кофеем* и занимать у ней часика на два, на три по рублю.



Варварские ворота. Репродукция с литографии из собрания Э. В. Готье-Дюфайе. Конец XIX в. Коллекция ГИМЗ «Горки Ленинские»

Слушает Татьяна барские, по ее мнению, рассказы с благоговейно выпученными глазами, искренними и тяжелыми вздохами сочувствует несчастьям некогда столь вельможных барышень, терпеливо жгется их горячим кофе, не задумываясь оделяет их рублями, зажитыми в долгой и трудной службе идолам-купцам, и, наконец, дошла до того, что однажды сама рассказала захожей богомолке, когда никого не было в хозяйской кухне, что она – офицерская жена, что ей, по-настоящему, барыней быть следует – и была барыней, долгое время была, и именно до тех самых пор, пока не запил ее муж-офицер и не пропал без вести.

– Толкуют, – закончила Татьяна удивленной и соболезновавшей о ее горе богомолке, – в больших теперь чинах муж. Сам, говорят, главный начальник за его усердную службу (в недавнем времени слухи были об эвтом) тремя рублями из своих енаральских рук наградил.

Что именно заставило Татьяну соврать таким образом, до сих пор неизвестно. Известно только то, что вольная жизнь комнат *снебилью*, которой Татьяна насмотрелась у коммерсантки, до того показалась ей привлекательной, что жизнь купецкой кухни ей опротивела, как говорится, в досталь.

Не стерпевши, наконец, постоянно нахмуренного мурла своей кухарки, *сам* однажды сказал Татьяне:

– Ты што же это, Татьяна Лексеевна, рыло-то воротишь, словно медведь? Али много жира с хозяйских хлебов завела?

– С твоих-то хлебов и заведешь жира! – басовито пробормотала Татьяна, предусмотрительно пробираясь в кухню.

– Стой-ка, стой мать! – не совсем еще прогневавшись, останавливал ее *сам*. – Што ты в самом деле не свое на себя берешь! Уж не поутюжить ли мне тебя, барыня? Не поумнеешь ли, авось, хошь с моей-то легкой руки?

Говорит это *сам*, благодушно и тихо посмеиваясь и бороду разглаживая, потому знал Татьяну за хорошую бабу и серьезно обижать ее не хотел. Думал, что от одних добрых слов почувствуется.

– Ученого учить – что портить! – возговорила Татьяна на ласковые речи хозяйские. – Своих дураков полны горницы, – их бы перво-наперво поучил.

Тут хозяин не стерпел и дал Татьяне тумака, сначала в затылок, а потом в бок. Татьяна во все свое звонкое горло закричала «караул» и стремглав бросилась в фартал^[33].

Особенно уголовного дела по случаю Татьяниной жалобы не затеялось. Наутро только квартальный пришел к *самому* с визитом, потолковал с ним немного, получил от купца про свои домашние обиходишки десять рублишков и посоветовал прогнать со двора кляузницу-кухарку.

На всю улицу орала Татьяна, когда *сам* прогнал ее; гвалт, с которым Захары толкали ее, по хозяйскому приказу, в три-шей, собрал к купеческому дому много народа; а вскоре после этого на воротах одного разваливающегося и мрачного деревянного дома на Сивцевом Вражке запестрелся билет, гласивший следующее:

«Сдесь адаюца комнаты састылом и снебилью вхот, налева фперваю лесницу».

Эти комнаты *снебилью* оборудовала Татьяна опытная в делах подобного рода коммерсантка.

Спасайтесь от них, бедные люди!

IV

Обыкновенные случаи, обставляющие Татьянины коммерческие мистерии

Этот дом, в котором расположилась Татьяна, битком набитый чумазыми сапожниками, кривоногими портными, обсыпанными с ног до головы сажей гигантами-кузнецами, синими, зелеными и даже иногда желтоватыми и ярко-красными красильщиками, – этот дом, говорю, загудел и заорал еще громче и безалабернее, чем гудел и орал он до водворения в нем съемщицы комнат *снебилью*.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Комментарии

1.

...в комнатах снебилью... – имеются в виду самые дешевые меблированные комнаты, рассчитанные на малосостоятельных обитателей. Выражение взято из увиденного А. И. Левитовым объявления о сдаче жилья, вывешенного малограмотной хозяйкой на стене дома. Когда в 1855 г. Левитов пришел пешком в Москву, он, не имея средств, ночевал на постоялых дворах. Помогла сестра Мария Ивановна. «Она продала двух волов отца и вырученные деньги отослала брату. В этот же день он нанял себе на Грачевке маленькую комнату «снебилью», – рассказывал А. Н. Пыпин (Пыпин А. Н. Беллетрист-народник шестидесятых годов // Вестн. Европы. 1884. № 8. С. 662). В очерках Левитов употребляет словосочетание «комнаты снебилью» как синоним труппного «дна».

2.

...Страстная неделя... – последняя неделя Великого поста, в течение которой верующие соблюдают строгие ограничения в пище, избегают развлечений и посвящают свои помыслы последним дням жизни и смерти Иисуса Христа. Все дни Страстной седмицы носят названия Великих, и с каждым связаны особые православные традиции.

3.

«Кому чару пить, кому распивать?» – неточная цитата из старинной русской заздравной песни «Кому чару пить, кому выпивать...»

4.

...на моей родине живет некий маститый старец... – Младший брат А. И. Левитова, Алексей Иванович, проживал в Лебеяди и был иноком Троицкого монастыря.

5.

...Jean de Sizoy (фр.) – «Иван Сизой», псевдоним, которым А. И. Левитов подписывал свои ранние очерки, появившиеся на страницах периодической печати. В частности, в 1862 г. в журнале «Зритель» под этим именем были опубликованы рассказы «Погибшее, но милое создание» и «Крым», включенные в ныне переиздаваемый сборник. Одновременно Иван Сизой – это лирический герой Левитова, доносящий до читателя мысли и переживания автора.

6.

...Sapientisat! (лат.) – Умному достаточно!

7.

...sapientis (лат.) – умный.

8.

...полведерная бутылка... – В XIX в. в Российской империи общепринятой винной мерой стало «московское ведро», составлявшее примерно 12 л, в то время как в других регионах страны «ведро» все еще могло вмещать от 12 до 14 л. Ведро водки делили на 2 полуведра, 10 штофов, 100 чарок и 200 шкаликов.

9.

Мне вспоминается мое прошлое... – А. И. Левитов вспоминает о собственном детстве в селе Доброе Лебеядского уезда Тамбовской губернии, когда он пел на клиросе местной церкви, где отец состоял в причте.

10.

Бедная! Учение мое действительно порвало у вас с отцом последние жилы... – На протяжении всей жизни А. И. Левитова не отпускало чувство вины перед матерью. Прасковья Прокофьевна очень переживала предстоящую разлуку с сыном, которого отец решил послать на учебу в Лебединское духовное училище. «Мать часто ласкала меня и плакала, – вспоминал Левитов, – а я жду не дождусь, когда меня в училище повезут... Я перестал играть с товарищами, избегал оставаться с матерью наедине: я не мог видеть ее печального лица, а слезы ее вызывали и у меня слезы...» (Цит. по: Нефедов Ф. Д. Александр Иванович Левитов // Левитов А. И. Собр. соч. Т.1. М., 1884. С. XIV). Мать страдала от наступившей разлуки с сыном, но рассчитывала на то, что, закончив училище и семинарию, он возвратится домой. Когда же в 1855 г. Левитов отправился в Москву, мать умерла через несколько дней после его ухода из родного дома. «Известие о смерти маменьки крайне меня поразило, так что если бы не участие добрых людей, я не знаю, что со мною сделалось», – писал тогда Левитов сестре. (Цит. по: Силаев А. Я. Лиры звон кандалный: очерки жизни и творчества А. И. Левитова. Липецк, 1963. С. 23). Позже он узнал, что, проводив сына, Прасковья Прокофьевна долго стояла на холодном промозглом ветру у околицы, глядя ему вслед. Ночью у нее началась горячка, и через несколько дней ее не стало.

11.

Лучшие дни молодых годов моих безвозвратно прожиты мной в этих тайных вертепах... – На протяжении всей своей жизни писатель сменил множество меблированных комнат. «Он нанимал квартиру где-нибудь на окраине города, в подвале или в каком-либо полуразвалившемся флигеле, где он терпеливо выносил и холод, и голод, и много всяких нравственных мук», – вспоминал публицист Ф. Д. Нефедов (Нефедов Ф.Д. А. И. Левитов // Вестн. Европы. 1877. № 3. С. 462).

12.

Кипень – белая пена от кипения.

13.

Комла (искаж.) – комната.

14.

...Татьяну-съемщицу спроси... – «Съемщицами» называли содержательниц меблированных комнат, арендовавших помещения у домовладельцев на определенный срок с целью дальнейшей сдачи их внаем.

15.

Ухарь-баба – бойкая, хваткая баба.

16.

...«издивляется»... – здесь: удивляется.

17.

...с блестящими серьгами в левых ушах... – Обычай носить золотую серьгу в левом ухе имели моряки. А серебряная серьга в левом ухе означала, что ее обладатель – уроженец донской казацкой вольницы и единственный сын у матери, не имеющей других кормильцев. В случае призыва на военную службу, при равнении направо, командир сразу видел, кого следует беречь

в бою. Серьга в ухе мужчины могла быть и оберегом, как это бывало у некоторых народов Восточной Сибири. Для людей, отправившихся на заработки, серьга могла быть своеобразным вложением капитала или чем-то вроде «гробовых» денег, дававших уверенность, что, в случае смерти ее владельца, на вырученные от ее продажи деньги его похоронят.

18.

Погребница – погреб при городской усадьбе.

19.

Китайчатый – сшитый из плотной хлопчатобумажной ткани синего цвета, вывезенной из Китая.

20.

... в заговенье... – в последний день перед постом, когда можно употреблять скоромную пищу.

21.

Личарды – здесь: верные слуги. Особенной популярностью в народной среде пользовалась «Гистория о некоем храбром витязе и о славном богатыре о Бове Королевиче». Бова был сыном короля Гвидона и Милитрисы, дочери правителя Кирбича. Однако сердце Милитрисы было давно отдано высокочтимому Додону. Отец же принудил ее стать женой Гвидона, чьим сватом был верный конюший Личарда.

22.

Лихач – удалой расторопный извозчик с щегольской коляской и упряжью.

23.

Полпивная – заведение, торгующее легким пивом, брагой и другими напитками.

24.

Полуштоф – мера объема жидкости, равная примерно 0,6 л.

25.

Поддевка – мужская одежда из нанки, плиса или сукна, имеющая мелкие сборки по талии.

26.

Сюртук – длинное двубортное легкое пальто, обычно в талию. Этот вид мужской одежды появился в России в начале XIX в.

27.

Томпаковая луковица – часы, корпус которых был изготовлен из сплава меди с цинком (от фр. tombac).

28.

Коленкор – сильно крахмаленная или пропитанная особым составом хлопчатобумажная ткань (от фр. calicot).

29.

Фалбара – здесь: оборка по краю чепца. От искаж. «фалбала», «фалбола», «фалборка» – подзор на кровати или широкая оборка по периметру платья.

30.

Кринолин – здесь: нижняя юбка из ткани, изготовленной из конского волоса. Кринолины (от фр. *crinoline*) стали носить во Франции в 1840-е гг., поддевая их под юбку платья, чтобы придать ей пышную форму.

31.

...в праздничном немецком платье... – в нарядном платье иностранного фасона.

32.

...кофе внакладку... – положив сахар в кофе.

33.

...бросилась в фартал... – побежала за помощью к квартальному чину. До 1881 г. полицейские части города в России делились на кварталы, которые возглавляли квартальные надзиратели.